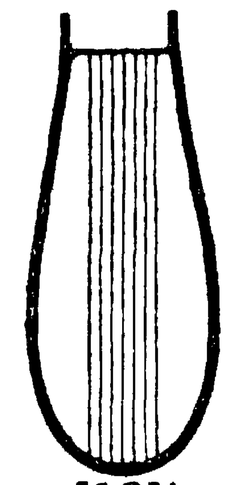
ЦЕХ ПОЭТОВ 4

ИЗД-ВО ТРИРЕМА
БЕРЛИН



ЦЕХ
ПОЭТОВ

ЦЕХ ПОЭТОВ

КНИГА 4-АЯ

БЕРЛИН 1923

Эта книга отпечатана в 1923 году в типографии Lutze & Vogt G. m. b. H.
Berlin SW 48, Friedrichstrasse 16

СТИХИ

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

1

Тянет сыростью от островов,
Треплет ветер флаг на пароходе,
И глаза твои, как две лагуны,
Отражают розовое небо.
Мимолетный друг, ведь все — обман,
Бога нет и в мире нет закона,
Если может быть, что навсегда
Ты меня оставишь, не услышишь
Голоса зовущего, не вспомнишь
Этот летний вечер . . .

2

Чрез миллионы лет, — о, хоть, в эфирных волнах ! —
Хоть раз, — о, это все равно ! —
Померкшие черты среди теней безмолвных
Узнать мне будет суждено.

И как мне хочется, — о, хоть холодной тенью ! —
Без упоения и мук,
Хоть, только бы прильнуть,—о, только к отраженью!—
Твоих давно истлевших рук.

И чтоб над всем, что здесь не понял ты, беспечный,
Там разгорелся наконец
Огромный и простой, торжественный и вечный
Свет от слиянья двух сердец.

3

Уносит в реку белый снег, — увы !
И медленно редеют острова,
И холодеет небо . . . Но хочу
Теперь я говорить слова такие,
Чтоб нежностью наполнился весь мир
И чтобы долго эхом безутешным
Мои стихи носились бы . . . Хочу
Чтоб через тысячи глухих веков,
Когда под крепким льдом уснет, быть может,
Наш опустелый край, в иной стране
Иной влюбленный, тихо проходя
Над розовым, огромным, теплым морем
И глядя на закат, вдруг повторил
Твое двусложное, простое имя,
Произнося его с трудом . . . И сразу,
Бледнее неба, был бы он охвачен
Мучительным и непонятным счастьем,
И полной безнадежностью, и чувством
Бессмертия земной любви . . .

4

Наперекор бессмысленным законам,
Наперекор бессмысленной судьбе,
Передаю теперь я всем влюбленным
Мое воспоминанье о тебе.

Оно пройдет чрез все моря и реки,
Оно пройдет века, и будет жить,
И о тебе, исчезнувшем навеки,
Мечтателей заставит говорить.

О, ангел мой, холодную заботу,
Простую жалость, о звезда моя,
Как бы по ростовщическому счету
Бессмертием оплачиваю я.

5

Ни срезанных цветов, ни дыма панихиды.
Не умирают люди от обиды,
И не перестают любить.
В окне чуть брежжит день и надо снова жить.

Но если, о мой друг, одной прямой дороги
Весь мир пересекла бы нить,
И должен был бы я, стерев до крови ноги,
Брести века по ледяным камням,
И коченея, где-то там,
Коснуться губ твоих, безмолвно и устало,
И все опять забыть, и путь начать сначала,
Ужель ты думаешь, любовь моя,
Что не пошел бы я ?

6

Сердце мое пополам разрывается.
Стынет кровь.
Что за болезнь ? Как она называется ?
Смерть ? Любовь ?

О, разве смерть наша так удивительно —
Хороша ?
Разве любовь для тебя так мучительна,
О, душа ?

7

О том, что смерти нет, и что разлуки нет,
И нет земной любви предела,
Не будем говорить. Не так устроен свет,
Где нам дышать судьба велела.

И грустен мне, мой друг, твой образ, несмотря
На то, что ты и бодр, и молод,
Как грустно путнику в начале сентября
Вдруг ощутить чуть слышный холод.

8

За все, что в нашем горестном быту,
То плача, то смеясь мы пережили,
За все, что мы, как слабую мечту,
Не ожидая ничего, любили,

Настанет искупление . . . И там,
Где будет кончен счет земным потерям,
Поймешь ли ты ? — все об'яснится нам
Все, что мы любим и во что не верим.

9

Есть несомненно странные слова.
Не измышленье это и не бредни.
Мне делается холодно, едва
Услышу слово я: последний.

Последний час . . . Какой огромный сад !
Последний вечер . . . О, какое пламя !
Как тополя зловеще шелестят
Прозрачно-черными ветвями . . .

10

Без отдыха дни и недели,
Недели и дни без труда.
На синее небо глядели,
Влюблялись, и то не всегда.

И только . . . Но брежжил над нами
Какой-то божественный свет,
Какое то легкое пламя,
Которому имени нет.

11

Когда успокоится город,
И смолкнет назойливый гам,
Один выхожу я из дому,
В двенадцать часов по ночам.

Под черным разорванным небом,
По тонкому первому льду,
Не встретив нигде человека,
Не зная дороги, иду

И вижу широкую реку,
И темную тень на коне,
И то, что забыла Россия,
Тогда вспоминается мне.

Но спит непробудно столица.
Не светит на небе луна.
Не бьют барабаны. Из гроба
Никто не встает. Тишина.

И лишь пролетая с залива
И будто колебля гранит,
Сухой и порывистый ветер
Мне ноги снежком порошит.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

1

Мы из каменных глыб создаем города
Любим ясные мысли и точные числа
И душе неприятно и странно, когда
Тянет ветер унылую песню без смысла,

Или море шумит. Ни надежда, ни страсть,
Все что дорого нам в них не сыщет ответа.
Если ты человек — отрицай эту власть
Подчини этот хор вдохновенью поэта.

И пора бы понять, что поэт не Орфей
На пустом побережьи вздыхавший о тени,
А во фраке, с хлыстом, укротитель зверей
На залитой искусственным светом арене.

1922

2

Пожалейте меня, сир !
Я давно позабыл мир,
Я скитаюсь двенадцать лет,
У меня ничего нет !

«Для того чтоб таких жалеть
У меня хороша плеть
У меня молоток-гвоздь.
Прямо в кость, дорогой гость.

1922

3

Так тихо гаснул этот день. Едва
Блеснула медью чешуя канала,
Сухая, пожелтевшая листва
Предсмертным шорохом затрепетала.

Мы плыли в узкой лодке по волнам,
Нам было грустно, как всегда влюбленным,
И этот бледно-синий вечер нам
Казался существом одушевленным.

Как будто говорил он : я не жду
Ни счастия, ни солнечного света —
На этот бедный лоб немного льду,
Немного жалости на сердце это.

1922

4

Мы живем на круглой или плоской
Маленькой планете. Пьем. Едим.
И, затягиваясь папироской,
Иногда на небо поглядим.

Поглядим и вдруг похолодеет
Сердце неизвестно отчего.
Из пространства синего повеет
Холодом и счастием в него.

Хочешь что то вспомнить — нету мочи
Тянешься — не достает рука . . .
Лишь ныряют в синих волнах ночи
Как большие чайки облака.

1922

5

Январьский день. На берегу Невы
Несется ветер, разрушеньем вея . . .
Где Олечка Судейкина, увы,
Ахматова, Паллада, Саломея.
Все кто блистал в тринадцатом году,
Лишь призраки на петербургском льду . . .

Вновь соловьи засвищут в тополях
И, на закате, в Павловске иль Царском
Пройдет другая дама в соболях,
Другой влюбленный в ментике гусарском,
Но Всеволода Князева они
Не вспомнят в дорогой ему тени !

1922

6

РОЗА

Я в мире этом
Цвету и вяну
Вечерним светом
Я скоро стану.

Дохну приветом
Полям и водам
Прохладным летом,
Пчелиным медом.

И ты, прохожий,
Звался поэтом
А будешь тоже
Вечерним светом.

Над тихим садом
Под ветром с юга
Мы будем рядом
Забыв друг друга.

1922

7

Ужели все мечтать, ужели все надеяться
И только для того,
Чтобы закрыть глаза и по ветру развеяться
Не помня ничего.

И некому сказать, как это называется.
Еще шумит гроза,
Еще сияет день — но сами закрываются
Усталые глаза.

1923

8

Не спится мне. Зажечь свечу ?
Да только спичек нет.
Весь мир молчит и я молчу,
Гляжу на лунный свет.

И думаю как много глаз
В такой же тишине
В такой же тихий ясный час
Устремлено к луне.

Как скучно ей, должно-быть, плыть
Над головой у нас
Чужие окна серебрить
И видеть столько глаз.

Сто лет вперед, сто лет назад
А в мире все одно :
Собаки воют, да глядят
Мечтатели в окно.

1923

9

Закрыта жарко печка,
Какой пустынный дом !
Под абажуром свечка,
Окошко подо льдом.

Я выдумал все это
И сам боюсь теперь.
Их нету. Нету. Нету.
Не верь. Не верь. Не верь.

Под старою сосною
Где слабый звездный свет
Не знаю двое, трое
Или их вовсе нет.

В оцепененьи ночи
Тик-так. Тик-так. Тик-так.
И вытекшие очи
Глядят в окрестный мрак.

На иней, иней, иней
— Или их вовсе нет —
На сиий, синий, синий
Младенческий рассвет.

1923

10

Прорезываются почки
(Как сыро в беседке)
Развертываются листочки
На оттаявшей ветке.

Во все закоулки сада
Тепло проникает
И прошлогодняя падаль
Догнивать начинает.

Сладко нам в лучах серебристых,
Да и некуда деться . . .
Ничего что сгнием так быстро,
Только б согреться.

1923

11

РАЗГОВОР

Грустно! Отчего Вам грустно
Сердце бедное мое?
Оттого ли что сегодня
Солнца нет и дождик льет?

Страшно? Отчего Вам страшно
Бедная моя душа?
Оттого ли, что приходит
Осень, листьями шурша?

— Нет, погода как погода,
Но наверно веселей
Биться в смокинге банкира
Чем скучать в груди твоей.

— Нет, но завтра, как сегодня
И сегодня, как вчера
Лучше б я была душою
Танцовщицы в Opéra

— Так нетрудно, так несложно
Нашу вылечить тоску,
— Так нетрудно в черный кофе
Всыпать дозу мышьяку.

— Я Вам очень благодарен
За практический совет.
Я не меньше Вас скучаю
Целых двадцать восемь лет.

1923

12

Это качается сосна
И убаюкивает слух.
Это последняя весна
Разсеивает первый пух.

Я жил и стало грустно мне
Вдруг, неизвестно отчего.
Мне страшно стало в тишине
Биенье сердца моего.

1923

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

I

Каждый дом меня как-будто знает.
Окна так приветливо глядят.
Вон тот серый чуть-ли не кивает,
Чуть-ли не кричит мне : Как я рад !

Здравствуйте. Что вас давно не видно
Не ходили вы четыре дня,
А я весь облез, мне очень стыдно
Хоть-бы вы подкрасили меня.

Две усталые, худые клячи
Воз огромный тяжело везут
Кланяюсь, желаю им удачи,
Да какая уж удача тут.

Медленно встает луна большая.
С моря влажный ветер налетел,
И спешат прохожие не зная,
Как печален их земной удел.

1922

2

Летала, летала ворона,
Долетела до широкого Дона,
А в Дону кровавая вода,
Не идут на водопой стада
И в лесу кукует не кукушка,
А грохочет мортирная пушка.
Через Дон наводят мосты
И звенят топоры и пилы,
Зеленеют братские могилы,
На могилах деревянные кресты . . .
А вороне какое дело ?
Взмахнула хвостом и домой улетела.

1922

3

И никогда я не знала,
Что у него за дела.
Сам он рассказывал мало,
Спрашивать я не могла.

Вечно любовь и тревога.
Стыдно мне? Нет, ничего.
Ночью просила я Бога,
Чтоб не накрыли его,

И уезжая кататься
В автомобиле одна,
Я не могла улыбаться
Встречным друзьям из окна.

Апрель 1923

4

Вечера в январе
Тяжелы, как быки.
Воет пес на дворе
От жестокой тоски.

И голодных ворон
Слышен крик у окна.
Легкий скрип, легкий звон
И опять тишина.

Я крещу потолок
И углы и окно.
Слышу, шарканье ног,
Но бояться смешно.

И встает за окном белый зимний рассвет . . .
Ни печального в мире, ни страшного нет.

Апрель 1923

5

Я поздравленья к Рождеству
Пишу знакомым и родным,
Но не выходит. Письма рву
И злюсь. А в окнах белый дым.

Сквозь белый дым вода блестит
И слышится церковный звон,
Сквозь белый дым душа летит,
Сквозь белый дым и звон и сон.

И все прозрачней, все ясней
Сияющий блаженный путь.
И ветер, ветер. Страшно ей
В блаженстве этом утонуть.

И к ней по белым облакам
Подруги легкие бегут
— Ты наконец вернулась к нам!
И старым именем зовут.

Но это длится только миг,
Короткий миг. Поймай его.
И снова стол и груда книг
И после-завтра Рождество.

Апрель 1923

6

На сосне чернеют копыта
И кобылья торчит голова
Говорит : Все у нас шито-крыто,
А сама то ты какова ?

Закричала я и проснулась
Словно в пропасть упала на дно.
Занавеска от ветра качнулась
И луна заглянула в окно.

А тебе приснится наверно
Если лес то такой, как всегда
У ручья боязливая серна
И в ручье голубая вода.

Апрель 1923

7

БАЛЛАДА О СТАРУХЕ

Ровно в полночь вышла старуха
Побежала, что было духа
Со всех старушечьих ног
К перекрестку пяти дорог.
Крепко прижала к груди кота.
Страшно итти против Христа!
Вот перекресток. Вот и мост.
Дернула сильно кота за хвост.
Громко мяукнул испуганный кот.
Снова все тихо. Чу!... Кто-то идет.

Падает снег, как хлопья ваты.
Подходит к старухе старик горбатый
И говорит ей: Кота мне дай.
Взамен получишь сахар, чай
Мясо, хлеб, дрова, керосин...
— Не надо мне этого гражданин.
— Чего же ты хочешь, чертова дочь?
— Мужа хочу и брачную ночь.
— Ладно. Давай кота,
Беги без оглядки до моста.

Вот вернулась домой старуха —
Слышит кто-то заблеял глухо
Словно в кухне козел. Ох !
Да восреснет Бог !
В кухню входит, а там матрос
Глаза голубые, вздернутый нос
Говорит он нежно : Здравствуй, старушка,
Здравствуй моя невеста-душка.
Очень рад с тобой повстречаться
Что-же ? Идем венчаться.
Всполошилась старуха : Ну, что ты мой свет ?
Ночью церковь закрыта и батюшки нет.
А матрос в ответ : На что тебе поп ?
Ты и так слишком часто крестишь лоб.
Нынче в церковь ходить не велят,
Нынче ходят в комиссариат.

Снова снег и снова мороз.
Возле старухи шагает матрос
Ух . . . Проклятущий холод !
Тускло мигает фонарь вдали,
К серому дому они подошли,
На вывеске серп и молот.
Лестница, дверь обитая кожей.
Шепчет старуха : помилуй Боже !
Но вовсе не страшно. Дом, как дом.
В плюшевом кресле за круглым столом
Важный сидит коммунист,
Что-то заносит на белый лист.

Сколько вам лет ? — Семьдесят два.
Я папиросница. Вдова.
— А вам гражданин ? — Двадцать пять лет
Матрос с крейсера Декрет.
— Славная парочка, честное слово.
Подпишитесь, гражданка. Ну, вот и готово.
Матрос заплатил за венчание миллион
Поклонился и вышел с женою вон.

Дома громко поет самовар
Старуху бросает то в холод то в жар.
Ну, закусили. Пора и спать

Крякнул матрос и сел на кровать.
Лампа потухла. Жарко, темно.
Смотрится новый месяц в окно
— Ох, мой любимый, ох, мой родной
Ох-же и как хорошо мне с тобой !

Брезжет рассвет и поют петухи
Шепчет старуха : Грехи-то, грехи !
Тянется мужа обнять,
Видит — пуста кровать,
Трет кулаком глаза,
Крестится на образа,
Да что-то
Не видно киота.
А там где икона была
Торчит из угла
Морда козла,
Блеет протяжно и глухо :
— Доброго утра старуха !

Декабрь 1922

НИКОЛАЙ ОЦУП

1

Я с винтовкой караулю.
На вершинах снег и мгла.
Сжатый воздух гонит пулю
Из нагретого ствола.

Вспыхнет, свиснет, и долина
Зааукает в ответ.
Пыльной тучей из-за тына
Вылетел мотоциклет.

Сразу стало небывалым
Все что было. Страшный Суд.
Накрывают одеялом,
В небо медленно несут.

Дама и полковник в зале,
В зале штаба над Невой
«Умоляю, вы узнали ?
Под Вилейкой . . . Рядовой . . . »

Счет давно уже потерян.
Всюду кровь и дальний путь.
Уцелевший неуверен —
Надо руку ущипнуть.

Все тревожно. Шорох сада.
Дома спят неверным сном.
«Отворите !» Стук приклада,
Ветер, люди с фонарем.

Я не проклинаю эти
Сумасшедшие года.
Все явилось в новом свете
Для меня, и навсегда.

Мирных лет и не бывало,
Это благодушный бред.
Но бывает слишком мало
Тех — обыкновенных — бед.

И они, скопившись, лавой,
Ринутся из всех щелей,
Озаряя грозной славой
Тех-же маленьких людей.

1922

2

Лови, лови ! и вороная в мыле.
Под деревом зевака с узелком.
В канаву человека повалили
И кто то в лоб ударил каблуком.

Мы с детства привыкаем и не плачем —
И Шиллер и влюбленность и закат,
А рядом эта сволочь над лежачим —
Подумай до чего-же мир богат.

Вот и теперь — ни выстрела, ни стона,
Надолго-ли — не знаю : ночь ясна.
Поля по обе стороны вагона,
И женщина с цветами у окна.

1922

3

Как скоро мир преобразили,
Как равнодушно земля летит.
Немецкий философ в автомобиле
Вчера из-за угла убит.

Нам, уцелевшим от пожара
В самой неслыханной стране,
Какое нам дело. Вздыхай, гитара, —
Почитаем стихи, зайдем ко мне.

Но если ты поверишь Энею,
Ожесточенному в морях —
Я все еще любить умею
И я вздыхаю на пирах.

Люблю подруги синие очи,
Такой подруги, которой нет.
Люблю века, они короче
Наших невыносимых лет.

Играют в карты, льют в стаканы
Забвенье и зеленый сок.
Нева, поля и крест деревянный,
А там — Берлин и пуля в висок.

Петербург, 1922

4

Канаты черные ослабь
И дрогнет пароход
И элегическая рябь
Чуть освещенных вод.

Прощай, прощай ! до фонарей
Во всю длину реки
Отплытие от дальних дней
Провозгласят гудки.

Не уставая винт стучит,
И Сена в дальних днях,
И пушки, мирные на вид,
На желтых берегах.

А в море ржавая заря
И ей наперерез
Дредноут похожий на угря
И грохот до небес.

За это время шар земной
Прострелен до прорех,
Переменился голос твой
И чувства — так у всех.

Куда же мы ? Туда, туда,
Не замедляйте ход.
Хочу подталкивать года
И этот пароход.

1922 г.

5

Мы передвинулись в веках
И по земному шару,
А женщина в одних чулках
Танцует под гитару.

Здесь горько пьют. Дымятся дни,
Как перед новым боем.
Весь день работают они,
А ночи пьют запоем.

Она его не веселит
Раздетая такая,
Багровый человек сидит
И говорит икая :

«— Упала, покажите кто ?
— Да нет, упала марка».
Приходят новые в пальто,
Накурено и жарко.

Уж восемь лет земля пьяна,
Тупеет понемногу,
Мы тоже выпили вина,
И пьяны, слава Богу.

И право нам легко понять,
Что так всегда на свете.
Что дети могут обвинять,
А мы уже не дети.

Берлин, 1922

6

Допили золотой крюшон,
Не тронут бутерброд,
Дурак уверовал, что он
В потомстве не умрет.

А на ладони виртуоз
Проносит в вышине
Никелированый поднос,
Слетающий ко мне.

Я молча пью. Ты не со мной,
Но ты всегда моя.
Я всюду слышу голос твой,
Далекий звон ручья.

Пускай старается румын,
Пускай вопят смычки,
И некрасивый господин
Мигает сквозь очки.

Мне все равно легко дышать
И слушать скрипачей.
Сумел я в сердце удержать
Слова любви твоей.

1923

7

Посвящаю Э. О.

Вот барина оставили без шубы,
„Жив, слава Богу“, и побрел шажком.
Глаза слезятся, посинели губы.
Арбат и пули свист за фонарем.

Опять Монрартр кичится кабаками
— Мы победили, подивитесь нам —
И нищий немец на Курфюрстендаме
Юнцов и девок сводит по ночам.

Уже зевота заменяет вздохи.
Забыты все убитые в бою.
Но поздний яд сомнительной эпохи
Еще не тронул молодость твою.

Твой стан печальной музыки нежнее,
Темны глаза как уходящий день,
Лежит как сумрак на высокой шее
Рассеяных кудрей двойная тень.

Я полюбил как я любить умею.
Пусть вдохновение поможет мне
Сквозь этот мрак твое лицо и шею
На будущего белом полотне

Отбросить светом удесятиренным,
Чтоб ты живой осталась навсегда
Как Джиоконда. Чтобы только фоном
Казались наши мертвые года.

1923

8

Печальный день летел за журавлиным клином,
Сухими листьями шуршал.
Она упала перед сыном,
Он не дышал.

Холодная рука свисает с одеяла
И в зубы над прикушеной губой
Она его поцеловала.
— О бедный мой !

— Мать, я не потому ушел в поля блаженных
Что выжжена земля.
Я видел сон, и в этих стенах
От солнца умер я.

Я узнаю тебя — ты, помнится, седая,
Но все, что там у вас,
И та, прекрасная и злая,
Любимая и посейчас.

И лес и моря шум и каменные зданья,
О, я любил ее одну,
Не стоят смерти и ее сиянья,
Похожего на тишину.

1923

9

Когда необходимой суетой
Придавлен ты и ноша тяжела,
Не жалуйся и песен ты не пой:
Устраивай свои дела.

И разлюби : не ангела крыло
Ту женщину сияньем осенит,
Ей пригодится разве помело,
Когда она на шабаш полетит.

В снегу и скалах кипятком поток,
И сердце повернулось на восток.
Ты слышишь как я медленно стучу,
Я вырваться, я вырваться хочу.

Но я змеиной мудрости учусь —
Дрожит на ветке запоздалый лист.
Вот в перевалку как тяжелый гусь
По склону поднимается турист.

Синеет лес. Поток во весь опор
В долину. Лыжи свищут. Бог с тобой !
Кто родился для ветра и для гор
Спокоен будь и песни пой.

1923

10

Мне нечего сказать, о я не знаю сам,
Кого молить, я нем подобно тем быкам,

Которых по крови с открытыми глазами
Проводят мясники тяжелыми дверями.

Ты волосы встряхнешь и на ветру блеснет
Освобожденный лоб, а злой и нежный рот

Все тени на лице улыбкой передвинет
И снова омрачась внимательно застынет.

В пронзительных глазах чернеет холодок.
И дуло светлое, толкнувшее висок,

И грохот поезда, летящего с откоса,
Решетка на окне и ночи без допроса, —

Все лучше чем тебя, не раз назвав своей,
Вдруг увидать чужой среди чужих людей.

1923

11

Бежит собака на ночлег
И явно с той же целью
В потертом фраке человек
Прошел с виолончелью.

Фонарь скрутился и погас,
Предутренняя пена,
И кто то : «умоляю вас,
Сыграйте вальс Шопена».

Не ветер расстегнул чехол
И прислонил к решетке,
Не ангел по струнам провел,
Но этот миг короткий

Звенела синяя Нева,
Гудела мостовая
И даже выросла трава
На линии трамвая.

1923

12

В белой даче над синим заливом
Душно спать от бесчисленных роз.
Очень ясно, с двойным перерывом,
Вдалеке просвистел паровоз.

Там проходят пустыми полями,
Над которыми месяц зажжен,
Вереницы груженых дровами
И один санитарный вагон.

Слабо тянет карболкой и иодом.
Умираю, спаси, пожалей !
Но цветы под лазоревым сводом
Охраняют уснувших людей.

1923

13

Да жил ли ты? Поэты и семья
И книги и свиданья. Слишком мало.
Вглядись: и это жизнь твоя,
Мне в буферах проскрежетало.

По склону человека на расстрел
Вели без шапки. Зеленели горы.
И полустанок подоспел,
И желтой засухи просторы.

Я выучил у ржавых буферов,
Когда они Урал пересекали,
Такую музыку без слов,
Которая сильней печали.

1923

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР

БАЛЛАДА О КЛЕШНИКАХ

Эх вы, клешники,
Да что вы сделали,
Бабьи юбки на штаны
Переделали.

I

Тридцать дней по восставшей земле
Тридцать клешников шли.
В них метили из-за угла и во мгле
Крестьяне восставшей земли.

Поля пылали, тлели стога,
Деревни горели окрест.
И стрелял в отступающего врага
Обитатель окрестных мест.

Дезертир, бродяга и хулиган
Выходил из лесных глубин.
И нагло прищелкивал Ноган
И японский карабин.

На юге — пожары, на севере темно,
На западе — западня :
За клешниками летел Махно
На расстоянии дня.

Все нахальнее и наглей
Поднимался и падал курок.
Тридцать клешников тридцать дней
Пробивались на восток.

На востоке заметил зоркий глаз
Синюю полосу.
— Надбавь ходу ! и через час
Они очутились в лесу.

Выжгли перед лесом траву,
Выставили часовых,
Вырыли ров, залегли во рву,
И на-ночь лагерь затих.

Но сон их был не глубок,
И рука искала курок.
Все на восток, на восток, на восток,
Всегда, всегда на восток.

II

На востоке пробился сноп огня,
Раздался сигнал боевой,
Будил на заре нового дня
Товарищей часовой.

А вдали, из земли, в мглистой пыли
Летел конный отряд,
И казалось, будто вдали
Большие птицы летят.

Летят на пули и на штыки,
Ощетиненный штыками лес,
Лихо сдвинув на бекрень козырьки,
С пиками наперевес.

Из зеленных ветвей, где пел соловей,
По воздуху хлыстнул Ноган,
А из кустов, правей и левей,
Ружейный ураган.

Метили в дым и пустоту,
Пачками паля.
Вылетали люди из седел на лету
И пачкали кровью поля.

Затряслась земля от топота копыт,
Каждый конь подковами забил,
Отряд кавалерии был отбит
И в смятении отступил.

Топот поднят сотней копыт,
Из под-подков огни.
Но гул топота залпом покрыт
И вновь отбиты они.

Три раза всадники мчатся вряд
И отбиты они все три.
И ввечеру отошел отряд
И поджидал зари.

III

На-ночь забрались клешники в ров,
А когда загорелся восток,
Уже подоженный со всех концов,
Горел оцепленный лесок.

И взвился огонь в синеву,
И дым разостлался в лесу,
Из ветвей выгоняя слепую сову,
А из норы — лису.

Зверей перед собой гоня
Навстречу встающего дня,
Вставали живые деревья огня,
Трещали кусты огня.

Листья ссыхались, свертывалась кора,
Пепел падал, как снег.
В огне из леса с громким «ура»
Вылетело тринадцать человек.

Они на бегу вздергивали курки,
Насаживали штыки,
И ветер взвивал взмахом руки
Матросские воротники.

Карабинный треск и ноганный щелк
Звонче разбитого стекла.
Раздался залп и сразу смолк
И на землю кровь потекла.

Зрачок глядел стеклянней и ясней
И не взымалась грудь.
Тридцать клешников тридцать дней
На восток пробывали путь.

И когда последний залп затих,
Истлел последний листок.
С попутным ветром души их
Отправились на восток.

15. V. 1921

СТАТЬИ

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

КОММЕНТАРИИ

I

На одном из обычных диспутов, где никто никого не слушает и никто никому не отвечает, В. Шкловский возмущался :

— Пушкин ! Напрасно вы вспоминаете Пушкина ! . . Пушкин не ваш . . . Пушкин был прежде всего сорванец и пародист. Он был пугачом для «хранителей традиций» . . .

В этом есть большая доля правды. Вспомним, что и Кузмин обозвал Пушкина «добрым малым».

Но это одна из тех вещей, которые не следовало бы говорить громко в «приличном обществе». Конечно, в Пушкине было немного «рубахи-парня», «души на распашку», одним словом немного Сергея Городецкого, — но непонятно, как можно этим восхищаться и это ставить в пример.

Неизменное обывательское сопоставление имен Пушкина и Лермонтова ведь только тем и оправдано, что относительную свою художественную слабость Лермонтов искупил средневековой, Саванароловской напряженностью тона и каждый обыватель это почувствовал. Каждый гимназист это чувствует и влюбляется в Лермонтова, со страхом и трепетом.

Лермонтов часто был пошл, — и скверно пошл, по юнкерски и по кавалерийски. Но между «Сашкой» и «Ангелом» нет решительно никакой связи, никаких промежуточных тонов. Разные люди писали их. Болотная муть «Сашки» не заволакивает и не закрывает «неба полуночи».

У Пушкина же

«Здорово Юрьев, лейб-улан»

как чуть слышное эхо нет-нет да и почудится то здесь, то там.

Но надо еще раз сказать: в лучших вещах Пушкина этого нет. Этого нет в «Заклинании» (О, ели правда...). Этого нет ни в «Полтаве», ни в печально-прекрасной седьмой песне Онегина. Оттого мы его и вспоминаем.

2

Нельзя не придти в уныние, разбираясь в наследстве, оставленном нам прошлым веком. Романтизм, пройдя через безотчетно-восторженные мечтания времен Руссо и Вертера, в 1830 г. вдруг приобрел голос и повадку среднего парижского адвоката, с остроконечной бородкой, заботами о всеобщей справедливости и принципиальным культом всего, что «grand». История была благосклонна к адвокатам и дала им тему и тональность: в их памяти жила еще фигура человека, со скрещенными на груди руками, l'Empereur.

Победа французского романтизма была быстрой и прочной. Потоки лишенных стиля, блестяще-вялых стихов затопили мир. По небосклону торжественно катилось солнце Гюго. Из прошлого вспомнили Шекспира, — и в нем его ошибки и его уродства.

3

За два года до смерти Пушкин писал о «глубоком и жалком упадке» современной ему французской литературы. Несколько случайных строчек Вольтера казались ему недостижимым образцом для французов его эпохи.

Пушкинские стихи с каждым годом становились все суше и все строже, иногда даже ценой потери прежней «неги». Он как бы сдерживал, напрягая все силы, готовое рухнуть здание, — стиль искусства. Он избирал наименее песенные формы — шестистопный ямб или белый стих.

После его смерти медленно и верно начинается разложение. В стилистике Лермонтова уже даны шестидесятые и девяностые годы, романы Чернышевского и Успенского, идеология русской общественности et caetera.

Поэзия Тютчева есть как бы история жизни очень здорового сознания в эпидемически-зараженном воздухе, история стилистических побед и поражений (далеко не редких).

Позднее пришли Надсон и Бальмонт.

4

Едва ли надо об'яснять, что порча стиля есть желание сделать его вполне свободным : никаких рамок и ничем художник не ограничен. Но «стиль — это человек». Всегда и везде это идет параллельно с назойливой выразительностью чувства и с затмением разума. Разум ведь на то и дан человеку, чтобы знать цену «рамкам».

5

На западе было назидательное явление : Парнасцы. Во главе их стоял человек, если и не гениальный, то проникнутый сознанием высоког назначения поэзии. Они безошибочно определили место индивидуального чувства в искусстве. Они упорно работали над техникой.

И все таки почти все, что они оставили, напоминает лишь превосходные черновики. Романтизм, из которого они вышли, тяготеет над ними, давит и опутывает их. Они многословны и педантичны. Леконт-де-Лилль, ни за что на свете не согласившийся бы вспомнить о своем личном горе или радости, легко отдает целые десятки строф на описание чувства Каина или Сигурда. Как будто это не одно и то же ?

Исключим навсегда из числа французов прошлого века : Альфреда де Виньи, самого холодного, самого печального, самого одинокого из всех когда-либо живших на земле поэтов (мне хотелось бы еще добавить : и самого взрослого).

И Бодлера, конечно.

6

Банвилль, в остроумнейшем «Petit Tratié» оживленно и настойчиво спорит с Буало, будто со своим современником. Это лучшее подтверждение силы влияния Буало.

Очень часто Банвилль прав : нетрудно заметить и показать ошибку противника, умершего полтора века назад. В блистательной концепции Буало не все, конечно, было продумано и сглажено.

Но Банвилль хочет большей частью подтвердить свои шаткие положения примерами и, захлебываясь, цитирует Гюго.

Тогда невольно вспоминается, что «Art poétique» может быть иллюстрировано примерами из Расина.

На том же вечере, когда Шкловский «восстанавливал» образ Пушкина, часто упоминалось имя Расина.

Расин есть прекраснейший из поэтов христианской Европы. Мне хочется еще раз повторить это.

Многим он обязан эпохе: чувством меры прежде всего, какой-то версальской сдержанностью. Но от природы у него был чистый и сильный голос и ум, как раз настолько острый, чтобы оставить жизнь иллюзиям. Во всем новом искусстве нет ничего равного короткой драме об Эсфири — по ясности и прямизне линий, по глубокой нежности замысла, по «ужасу и жалости».

8

Есть предрассудок, общий почти всем любителям поэтического искусства. Он состоит в том, что с появлением символистов началось, будто бы, возрождение поэзии.

Это не верно. Этого не было ни у нас, ни во Франции. Ранние стихи Бальмонта и Брюсова свидетельствуют лишь о некотором расширении кругозора, — и только. Прежде был «гнет оков», теперь «дрожь предчувствий», — но и только. В чувстве же слова, в честности по отношению к нему был сделан резкий прыжок, — если и не назад, то в сторону. Может быть это и было нужно, но безотносительно «идеалы» и «грезы» восьмидесятых годов все таки лучше чем «стозвонности» Бальмонта.

Декаденты стали употреблять в своем словаре слова: звезда, луч, гора, свеча и другие имена реальных сущностей мира не для того, чтобы назвать их, а чтобы уподобить другим предметам или даже чувствам. Это до сих пор еще не изжито. И теперь еще мы читаем стихи с какими то неведомыми, вне времени и пространства существующими солнцами и звездами. С декадентами пришел культ метафоры. И это еще не брошено, как пустая забава (имажинисты).

9

Еще о декадентах: лучшим из них, в лучшие их минуты, не хватало простоты и проясненности замысла.

Их искусство напоминает облака. Нет линий и нет архитектуры. Ничего не заострено. Поэтому, в конце концов они оставляют (и оставили) в сознании равнодушие и лень. Иногда, читая их, хочется спросить: что это значит, это сплетение полуслов и полуобразов, о каких человеческих чувствах говорит оно?

И повторить: «Какой тяжелый, темный бред!»

10

Часто приходится слышать:

— Нет хороших и дурных эпох в искусстве. Никто не прав и никто не виноват. Каждое поколение отрицает наследие предыдущего. Каждый истинный художник должен быть художником-революционером...

И прочая, и прочая, и прочая.

Эта легкомысленная теория имеет и свою формулу: ход коня.

Основная мысль ее (о неизбежности смен) правильна. Действительно в мире все происходит так. Но вывод о «непротивлении злу» по природе своей нигилистичен. Неужели человеческий разум окончательно решил склониться перед фактами и отказался руководить ими?

— Расина неизбежно сменяет Гюго.

— Знаем.

— Отбросим индивидуальные различия... Первый не лучше и не хуже второго.

— Нет. Если художник не шут и не ребенок, то он знает, что у искусства есть цель. И тогда у него есть некоторый «критерий оценки».

В искусстве были эпохи упадка и просветления. Это не может не помнить поэт первой четверти двадцатого века, определяя свое место в истории.

И совершенно безразлично, разрушает ли он традиции или «топчется на месте». Это зависит от того, чем занимались его ближайшие предшественники: можно ли взять их с собой в дорогу или их необходимо «сбросить с парохода современности».

11

Часто приходится слышать:

— Это тупик! Логический строй речи, прозаический порядок слов, точность языка, отсутствие метафор, молчаливое недоверие к свободному стиху, — весь этот кларизм упирается сам в себя. Это никуда не ведет и не может быть продолжено!...

Иногда, «в состоянии запальчивости и раздражения», случается с этим взглядом спорить. Но в часы спокойствия с ним надо согласиться. Он не только правилен теоретически, — он поддерживается всей историей искусства.

Но это ничуть не меняет дела: идея прогресса и развития далеко не так обаятельна, чтобы ради нее жертвовать нашим лучшим достоянием.

И мы не откажемся ради ее прекрасных глаз от того, что кажется нам установленным не относительно, а абсолютно, в условиях нашего мира, по крайней мере.

Красноармейская частушка:

Ах ты Бог, ты мой Бог,
Улетел на небо,
Нас забыл на земле
На полфунте хлеба.

Как это прекрасно и как пронзительно! Это лучше чем «Двенадцать». Если бы Бодлер знал автора этой песенки, он улыбнулся бы ему и сочувственно пожал его руку.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

...он любит Вас, моя маленькая шалунья. Но не уступайте ему ни в чем, иначе он охладеет и прощай замужство. Все мужчины таковы. Что касается до беспокоящих Вас угрей, Вы их можете вывести, выписав от нас наш Лосьон Рояль, цена 5 р. 50 к., двойной флакон 10 р.,

Из ответов Принцессы Грезы.

§ I

Мысль в стихах — приправа полезная, но не необходимая. Еще менее обязательна новизна или оригинальность мысли. Всякая мысль «годится в стихи», как пейзажисту годится всякий пейзаж — и вид Кампаньи и задворки Охты. Глубокая или новая мысль может даже повредить стихотворению, как вредит вычурная метафора или слишком звонкая рифма. Боратынский это хорошо знал. Переданные прозой его стихи — прозвучат как захудалые афоризмы.

§ II

Пройдут годы, может быть десятилетия, пока это случится. Но я уверен, что случится неизбежно.

Этот варвар, со всей силой своего гения, молодости, напора — докажет, что роль Пушкина в русской поэзии кончена. И «Прекрасная Легенда» о великом русском поэте рухнет в день, когда в витринах книжных магазинов появится его книга, статья, не знаю что.

А потом? Кончится русская поэзия? Или тут то и начнется в серьез.

Эстеты, во всяком случае, еще долго будут возиться, выгребая из под обломков разную мелочь.

§ III

Литература в России — изможденное, слабое, но сохранившее волю к жизни существо.

Русская литература здесь — свалка, где червячки читатели обглядывают падаль разных «Записок Чудака».

§ IV

«Рог-Рогачевский» и «Овсянико-Ковалевский», не только словцо, но и точная формула жалкого безличья нашей критики. Да и откуда быть «лицу» у людей, только потому и принявшихся за литературу, что места в отделах садоводства и сельского хозяйства заняли заблаговременно товарищи побойчей.

§ V

Воспоминание Белого о Блоке не приходят к концу, напротив пухнут и пухнут. Читать их трудно и пренеприятно из за несносной манеры, но в них много любопытного. Самое любопытное, разумеется, сам Белый.

Воспоминания эти правильней было бы назвать — «Почему из меня ничего не вышло» или в этом роде.

Картина такая. На первом плане русской литературы гигантская фигура Андрея Белого. Он ведет со всеми словесную войну, носится из Москвы в Париж, из Петербурга в Мюнхен, ссорится, мирится, опять ссорится, рассылает вызовы на дуэль и отказывается от них. Совершенно естественно, что вся эта возня и шумиха претит людям менее холерического темперамента и меньшего «размаха». Они (Блок, В. Иванов) вежливо, но настойчиво уклоняются и от поединков с Белым и от «братанья». Последний принимает это за «идейный вызов» и удваивает атаку. В экстазе он даже галлюцинирует: Блок в белой фланели на Арбате.

Повторяю, воспоминания — очень любопытные. Они отличный ключ к бесчисленным «Эпопеям», «Разлукам», «Запискам Чудака», приводящим в грустное настроение каждого, мало мальски дисциплинированного человека. Из них мы видим, «как дошел до жизни такой» Андрей

Белый. Видим, как прогрессировала в нем расхлябанность души и неврастения, в наши дни дошедшая в книгах Белого до последнего предела. Покрывающий с каждым днем, словно на мировой рекорд, колоссальные пространства бумаги, не сдерживаемый больше никем и ничем, этот знаменитый писатель блестяще подтверждает печальную истину, что талант и графомания, понятия, не исключающие друг друга.

§ VI

Когда я приехал в Париж, разные старые знакомцы по Бродячей Собаке все спрашивали, «Правда ли, что Ахматова сидит в «пробке ?» И на уверения, что нет и никогда не сидела, так искренно огорчались, что на следующие вопросы, умирает ли с голоду и в последнем ли градусе чахотки, из простой вежливости приходилось отвечать, что, кажется, кашляет, похудела и пр.

Да и не поверили бы, еслиб все отрицать.

§ VII

Тетка Блока — Бекетова, обнародовала воспоминания о нем, написанные, конечно, весьма добросовестно. Она приводит массу подробностей из жизни поэта, но все в таком роде :

«Сашенька очень любил купаться». «Покойник (дядя) хорошо играл на кларнете». «Узнал (Блок) об убийстве Столыпина — очень взволновался, чтобы успокоиться пошел в зверинец». «Увидел Керенского — взволновался — ореол славы». «Целый сезон ходил на французскую борьбу». Приятное воспоминание : «Гулял с Пястом на Лахте — ели колбасу» и т. д.

Все видено своими глазами и точно запротоколировано. А результат от чтения получается неожиданный — какое то «и средь детей ничтожных мира». И, конечно, ничуть незаслуженный Блоком результат.

Читателю Двенадцати и Шагов Командора знать, любил ли «Сашенька купаться» — совершенно незачем. Подспорье для будущего биографа ? Может быть : «и веревочка пригодится».

§ VIII

Мандельштам, Ахматова, Ходасевич, Сологуб, Цех . . . Кто еще ? — Два-три «молодых» под вопросом. Это — на одном берегу.

А на другом — Эренбурги. Имя же им Легион.

P. S. Подразумеваю литературу «действующую». В. Иванов или Брюсов, например при всем благородстве их имен, не идут в счет.

§ IX

У Шкловского много (на мой взгляд) разных теоретических провинностей. Но надо быть справедливым — он написал отличную книгу, правда не о теории языка.

Сентиментальное Путешествие сухо как стихи и захватывает как авантюрный роман. Кроме прекрасного языка она (какая в наши дни редкость!), глубоко человечна, безо всяких слюней и романтизма. Шкловскому удалось невозможное: записки очевидца превратить почти в эпос, ничуть их не обескровив.

У каждой книги своя судьба. Возможно, что Сентиментальное Путешествие у нас и не прочтут толком. Но если бы оно выдержало десятки изданий и его перевели на разные языки — это было бы только справедливо.

§ X

Известно, что Писарев, отрицавший поэзию и Пушкина в частности, все же кое что понимал и в Пушкине и в поэзии. Во всяком случае больше Белинского,

к которому так подходят слова:

...принес семинарист
тетрадь лакейских диссертаций.

Человеку с темпераментом поповича вообще трудна «стезя муз». «Золотое Веретено» Рождественского — предельный рекорд. Как в царской армии — офицер из кантонистов вечный штабс-капитан. А труда то сколько, а поту.

§ XI

Из числа читающих стихи 90% сами их пишут. Незавидная аудитория, так как писание дряных стихов унижает не меньше, чем чтение их. А остальные 10%, должно быть, читая сравнивают, насколько лучше писал в доброе старое время Апухтин.

И все таки мы интересуемся тиражем наших книг и тем, что скажут о нас даже в Абраксасе Барона Тизенгаузена *).

§ XII

В Москве эстеты об'единились под знаменем классицизма. Часть имен знакомые: Липскеров, С. Парнок, С. Соловьев, часть неофиты. Вполне заслуженное чувство безнадежности, вызываемое первыми, рас-

*) Абраксас — петербургский журнальчик. Тизенгаузен, редактирующий его молодой Человек.

пространяется и на последних, немедленно по прочтении их oeuvr'ов. Липскеров, Гроссман, Соловьев и Эфрос — дали программные статьи. Они пошлы и беспомощны. Стихи нелучше. Порнография А. Эфроса, впрочем, как курьез, забавна. В статье он же говорит : У порога стоит вестник классики и зовет в ее гармонический простор. Мы идем.

Идите пожалуйста. Зачем только убежище разных бывших и «никогда не бывших» «любителей изящного», каким является Ваш «Лирический Круг», выдавать за об'единение на платформе классицизма ? Вывод из прочтения книжки следующий : тупицы и бездарности в искусстве всегда одинаково противны, толкуют ли они о классицизме или выступают в роли потрясателей основ. Каким то образом в альманах затесались А. Ахматова, Мандельштам и В. Ходасевич.

§ XIII

И. Эренбург — специалист вульгаризатор хороших образцов. В частности его «Хуренито» — дешевая олеография с романов Франса. Писания его как говорится, «для бедных». Общедоступность, конечно, тоже качество. И «бедные» (Ященко в Русской книге) от души приветствуют «первоклассного писателя».

§ XIV

Эренбург пишет давно. Помню стихи из его первой книжки :

На тонком столике был нежно сервирован
В лиловых чашечках горячий шеколад.

Потом пошли эволюции. Вещь хорошая для поэта, но И. Эренбург сделал из этого профессию. Закончив цикл стихов в манере, скажем, Фр. Жамма, он тотчас же начинал копировать поэта во всем Жамму чуждого. Так создавалась видимость «творческого пути».

Подделки были не очень тонки, но и не грубы. Притом же Эренбург с течением времени все больше склонялся к левизне, испытанному средству, чтобы замаскировать всякие грешки, даже самую бездарность. Ведь так мало читателей, способных отличить настоящего революционера в поэзии от «примазавшегося». Хлебникова*) от Крученых.

Но путь механических эволюций, фокусов и расчетов новидимому наконец Эренбургу наскучил. Повидимому он счел, что почва под ногами достаточно тверда, чтобы позволить роскошь побыть самим собой.

*) Хлебников, впрочем, тоже хорош: чудовище, гроза долин, с ужасным задом, схватило несшую кувшин с прелестным взглядом.

Звериное тепло явно написано «для души», не из рассчета. Вместо vers-libr'a, ямб, левизна слиняла и тема любовь.

Ему пришлось воспеть удельных хамов,
Ранжир любви и местничество мер.
Средь сплетень, евнухов — смущенный мамонт
Закончил дни и был он камергер.

Камергер вместо камер-юнкера — «ничтожная» разница, стоившая Пушкину столько крови — должно быть для рифмы *).

или:

На теплом коврике босые ноги
И что стихов забытые красы
От этих ног и до пустой берлоги
Немного человеческой росы?

На диспуте о Цехе Эренбург сказал: так, как пишете Вы (Цех), во Франции не пишет ни один школьник. И он совершенно прав. Все школьники, вкусившие «левых течений» и вошедшие в возраст, пишут «теперь, как Эренбург». И не только во Франции, но и в нашей родной Чухломе.

§ XV

Радлова в Петербурге — то же, что Эренбург в Берлине. Географическое положение роли не играет, а передовых фармацевтов, чтобы читать их книги, слава Богу, достаточно и там и там.

§ XVI

Даже Воспоминания Белого кажутся сдержанными и сухими после статьи Марины Цветаевой о Пастернаке. (Световой Ливень, Эпопея № 3).

23 страницы этой «статьи» написаны в таком тоне восторженной истерики, что первое чувство при их чтении — острая неловкость и за автора этих панегириков и за предмет их — Пастернака.

«Сестра моя Жизнь». Первое мое движение — стерпев ее всю: от первого удара до последнего, — руки настеж: так, чтобы все суставы хрустнули. Я попала под нее, как под ливень.

— Ливень: все небо на голову, отвесом. Ливень впрямь, ливень вкось, — сквозь, сквозняк, спор световых лучей и дождевых, — ты не при чем — раз уж попал — расти. Сквозь эту галиматью просвечивает нехитрая суть статьи: Марине Цветаевой чрезвычайно нравится Пастер-

*) В титулованиях, впрочем, Эренбург вообще слаб. В другом месте (Повести о легких концах) у него фигурирует штаб-ротмистр Преображенского полка!

нак, и стихи его и наружность (стр. 12). Сама она, впрочем, признается, что сокровища, о которых говорит (вернее выкликает) она — сокровища «недоказуемые».

Будто бы опомнившись на минуту, она пишет: Довольно захлебываний. И обещает выйти на «трезвую мель тезисов и цитат».

Но вот тезисы:

Пастернак и быт
Пастернак и день
Пастернак и дождь.

и дальше — Быт. Тяжелое слово. Почти как бык. Это и есть обещанная ясность. Благодарю покорно. Во всяком случае досадно за блестяще талантливого, но все еще плутающего в «поисках» Пастернака. Человек слаб, а Пастернака и без того сверх меры захваливают, главным образом за его безконечные срывы и ошибки.

§ XVII

Говоря о «Двенадцати» Блока, российские критики обыкновенно говорят «Двенадцать» и «Скифы». По этому сопоставлению наших Ивановых-Разумниковых можно тотчас же узнать «по ушам». Ибо «Скифы», — посредственные ямбы под Брюсова, ни в какое сравнение с Двенадцатью итти не могут. Вся связь между ними та, что они появились в одной книжке журнала.

§ XVIII

Шарлатан авартюрнаго романа, какой нибудь чернобородый боксер, претендующий на Занзибарский престол — фигура увлекательная. Но шарлатан литературный, паясничая и заикаясь доказывающий почтенной публике, что он «тоже мог стать Ибсеном». Бррр... не надо!

Один мой друг рассказывал. Обедал сегодня у Анны Радловой. Договорились, что в России есть только два настоящих поэта — я и она. Конечно, прибавил он, — здесь одна величина постоянная — хозяйка дома, другая переменная.

§ XIX

В «Ремесле» Марины Цветаевой избран своеобразный метод творчества. Обычно поэт сдерживает себя изо все сил, скупится на каждое слово, сокращает написанное, бракует стихи, собирая книгу. М. Цветаева поступила как раз обратно. Она точно раскрыла плотину и стихи

Звериное тепло явно написано «для души», не из рассчета. Вместо vers-libr'a, ямб, левизна слиняла и тема любовь.

Ему пришлось воспеть удельных хамов,
Ранжир любви и местничество мер.
Средь сплетень, евнухов — смущенный мамонт
Закончил дни и был он камергер.

Камергер вместо камер-юнкера — «ничтожная» разница, стоившая Пушкину столько крови — должно быть для рифмы *).

или:

На теплом коврике босые ноги
И что стихов забытые красы
От этих ног и до пустой берлоги
Немного человеческой росы?

На диспуте о Цехе Эренбург сказал: так, как пишете Вы (Цех), во Франции не пишет ни один школьник. И он совершенно прав. Все школьники, вкусившие «левых течений» и вошедшие в возраст, пишут «теперь, как Эренбург». И не только во Франции, но и в нашей родной Чухломе.

§ XV

Радлова в Петербурге — то же, что Эренбург в Берлине. Географическое положение роли не играет, а передовых фармацевтов, чтобы читать их книги, слава Богу, достаточно и там и там.

§ XVI

Даже Воспоминания Белого кажутся сдержанными и сухими после статьи Марины Цветаевой о Пастернаке. (Световой Ливень, Эпопея № 3).

23 страницы этой «статьи» написаны в таком тоне восторженной истерики, что первое чувство при их чтении — острая неловкость и за автора этих панегириков и за предмет их — Пастернака.

«Сестра моя Жизнь». Первое мое движение — стерпев ее всю: от первого удара до последнего, — руки настеж: так, чтобы все суставы хрустнули. Я попала под нее, как под ливень.

— Ливень: все небо на голову, отвесом. Ливень впрямь, ливень вкось, — сквозь, сквозняк, спор световых лучей и дождевых, — ты не при чем — раз уж попал — расти. Сквозь эту галиматью просвечивает нехитрая суть статьи: Марине Цветаевой чрезвычайно нравится Пастер-

*) В титулованиях, впрочем, Эренбург вообще слаб. В другом месте (Повести о легких концах) у него фигурирует штаб-ротмистр Преображенского полка!

нак, и стихи его и наружность (стр. 12). Сама она, впрочем, признается, что сокровища, о которых говорит (вернее выкликает) она — сокровища «недоказуемые».

Будто бы опомнившись на минуту, она пишет: Довольно захлебываний. И обещает выйти на «трезвую мель тезисов и цитат».

Но вот тезисы:

Пастернак и быт
Пастернак и день
Пастернак и дождь.

и дальше — Быт. Тяжелое слово. Почти как бык. Это и есть обещанная ясность. Благодарю покорно. Во всяком случае досадно за блестяще талантливого, но все еще плутающего в «поисках» Пастернака. Человек слаб, а Пастернака и без того сверх меры захваливают, главным образом за его безконечные срывы и ошибки.

§ XVII

Говоря о «Двенадцати» Блока, российские критики обыкновенно говорят «Двенадцать» и «Скифы». По этому сопоставлению наших Ивановых-Разумниковых можно тотчас же узнать «по ушам». Ибо «Скифы», — посредственные ямбы под Брюсова, ни в какое сравнение с Двенадцатью итти не могут. Вся связь между ними та, что они появились в одной книжке журнала.

§ XVIII

Шарлатан авартюрнаго романа, какой нибудь чернобородый боксер, претендующий на Занзибарский престол — фигура увлекательная. Но шарлатан литературный, паясничая и заикаясь доказывающий почтенной публике, что он «тоже мог стать Ибсеном». Бррр... не надо!

Один мой друг рассказывал. Обедал сегодня у Анны Радловой. Договорились, что в России есть только два настоящих поэта — я и она. Конечно, прибавил он, — здесь одна величина постоянная — хозяйка дома, другая переменная.

§ XIX

В «Ремесле» Марины Цветаевой избран своеобразный метод творчества. Обычно поэт сдерживает себя изо все сил, скупится на каждое слово, сокращает написанное, бракует стихи, собирая книгу. М. Цветаева поступила как раз обратно. Она точно раскрыла плотину и стихи

хлынули широким потоком, в огромном количестве, как попало. 160 страниц стихов написаны в год или около того.

В поэзии всякий метод хорош, если удачен. Победителей не судят. М. Цветаева не оказалась победительницей, но ее не хочется, может быть даже нельзя судить. Не хочется, потому что она настоящий поэт, если и не идущий, то стремящийся итти вперед. Нельзя, потому что ее Муза так близка к птичьему чириканью, что рекомендовать ей сдержанность то же самое, что зажимать рот поющему дрозду.

Стихи Цветаевой имеют тысячи недостатков — они многословны, развинчены, нередко бессмыслены, часто более близки к хлыстовским песням, чем к поэзии в общепринятом смысле.

Но и в самых неудачных ее стихах всегда остается качество, составляющее главную (и неподдельную) драгоценность ее Музы — ее интонации, ее очень русский и женский (бабий) говор.

Самая книга? Среди ее бесчисленных полу-стихов полу-заплачек и нашептываний — есть много отличных строф. Законченных стихотворений — гораздо меньше. Но эти немногие — прекрасны (стр. 24 например). Они будут хорошим вкладом в антологию «отстоявшейся Цветаевой», ядром которой попрежнему остаются удивительные «стихи о Москве».

§ XX

«Недолго музыка играла, гусар недолго танцовал». «Единое и неделимое» стихотворение, едва приобретя права гражданства — уже трещит на наших глазах, от распирающих его «формы» и «содержания».

Это вполне естественно. Наши «измерительные приборы» так неточны и условны, что еще нераз придется выволакивать на свет Божий понятия, по справедливости забракованные.

Кстати, делить стихи данного поэта на плохие и хорошие не менее «буржуазно», чем различать содержание и форму. Таких примеров сколько угодно, и нет способов бороться со злом. Разве что начать писать отзывы на заумном языке Ильи Зданевича ?

§ XXI

Хорошо было бы на досуге составить не L'art poetique — куда нам — а нечто вроде письмовника или самоучителя танцев для поэтов, критиков и читателей. Мне говорили, что один агроном так хорошо обучился хорошему тону по руководству Холмушина, что был принят в Вырице за итальянского графа и женился на дочери купца первой

гильдии. Будь такое руководство, как знать, какую осанку и манеры приобрели бы многие наши знакомцы, пишущие стихи в «Руле» или рецензии в «Днях». Еще словарь российских бездарностей с автобиографиями можно бы составить, но это уже монументальная задача, требующая своего Венгерова.

НИКОЛАЙ ОЦУП

ЧТО ИЛИ КАК?

Среди возрастающего одичания и ожесточения земли слышится очень внятное: зачем ты пишешь? Особенно сегодня. Ведь нам не до поэзии.

Ненависть и презрение к поэзии породили дадаистов, ничевоков и т. под. У этих погромщиков много злой воли, но им недостает вкуса.

Зачем ты пишешь? Потому что я живу. Зачем ты живешь? Чтобы писать. И только? Разве личное счастие не выше поэмы?

Но я не собираюсь писать о цели творчества. Для этого есть Иванов-Разумник с Константином Эрбергом. Я ничего не могу ответить. Нельзя же резать курицу, несущую золотые яйца.

Я только говорю, что без этих вопросов и еще многих других забывается истинная природа поэзии.

* * *

Где то Горький говорит, что философия начинается с мысли о смерти.

Настолько серьезно одичание и ожесточение, настолько основательно перерыта земля, что сами собой встали и другие вопросы. О добре и зле.

Вижу торжество малых сих. Наконец-то допрыгались. Ну и Цех поэтов! Где же мечты о Парнасе и классицизме? Да это же Писарев! 80-е годы!

Это не так уж плохо. Если выбирать между Писаревым и декадентами, — Писарев человечней, а значит и лучше.

Без этического основания поэзия — пустая забава. Поэт не может отказаться судить и оправдывать.

Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв. Этими словами поэт только оказывается быть мировым судьей какой-нибудь Василеостровской части. Но от высшей власти он отказаться не в праве. Он должен судить жизнь и наш сегодняшний день.

* * *

О Цехе поэтов представление самое странное. Школа Гумилева? Но кто такой Н. С. Гумилев? При жизни он был «бездушным мастером». После смерти он стал «гениальным поэтом». Всему этому одна цена. Гумилев был прежде всего гениальным служакой.

Он относился к поэтической работе с такой же страстной, тупой и педантической любовью, как немецкий чиновник до войны к своей канцелярии.

На этом основании об'единение могло быть только механическим. И все же Цех иногда вместо случайного сборища становился подлинной школой. Так было при создании акмеизма, так может быть обстоит дело и сейчас.

Что же такое поэзия Цеха? «Бездушное мастерство»? Увы, много еще тех, кто душу, вдохновение, одержимость противополагают умелости, технике, измеримым, как им кажется, линейкой и циркулем. Нужно повторять им, что их пресловутая душа там, где они ее находят, чаще всего не больше чем душонка. Но так же, как большой человек может казаться гордым и фальшивым, хотя все это принадлежит не ему, а зрачку глупенького наблюдателя, так же поэта могут принять за техника-школяра.

Есть поэты, которые нуждаются в пристальном внимании, чтобы не вынести их стихам несправедливый приговор.

* * *

Мастерство насквозь духовно. Это — культура. А виршеплетство — цивилизация.

И вот русская поэтическая культура испытывается судьбу культуры мировой. Застой и падение.

Сознание тупика услаждает некоторых современных поэтов, брезгливых к шумной, грязной и кровавой жизни нашего поколения.

Мы не современны, мы можем гордиться тем, что мы обречены на неуспех и непонимание. Да верно ли это? И если верно, так уж ли это хорошо?

Надо вернуться к первоисточнику поэзии, переместить центр внимания. Перед нами все старые интеллигентские вопросы: о правде, о человеке, о родине, о Боге.

Что, а не как?

* *
*

Сдержанность сама по себе это стиль жизни английского лавочника.

Сдержанность, вытекающая из ощущения вечности, охлаждающей, но не уничтожающей поставленные только что вопросы, — это «как», вытекающее из «что».

Но нельзя же резать курицу, несущую золотые яйца. Только очень полезно об этой курице поговорить.

В нашем понимании классицизма (см. III-ий цех), — это не схема, но мироощущение и отношение к слову. Русская поэзия, как бы ни был нам интересен Расин, не заменяет себя переводами или подражаниями.

Русский классик не Озеров, но Тютчев. И еще: пора вспомнить о Некрасове тем поэтам и читателям, которые об'елись эстетическими сладостями.

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХИ

Георгий Адамович / 11 стихотворений . . 7 — 17
Георгий Иванов / 12 стихотворений . . . 18 — 29
Ирина Одоевцева / 7 стихотворений . . . 30 — 38
Николай Оцуп / 13 стихотворений . . . 39 — 52
Владимир Познер / Баллада . . . . . 53 — 56

СТАТЬИ

Георгий Адамович / Комментарии . . . . 59 — 64
Георгий Иванов / Почтовый ящик . . . 65 — 73
Николай Оцуп / Что или как? . . . . 74 — 76

Издания Цеха Поэтов:

Цех Поэтов I (Дракон)	Петроград, 1922 г.
Цех Поэтов II	„ 1922 г.
Цех Поэтов III	„ 1922 г.
Н. Гумилев. Шатер	Севастополь, 1922 г.
Ник. Оцуп. Град	Петроград, 1922 г.
Цех Поэтов I (Второе издание). Изд-во Эфрон.	Берлин, 1923 г.
Цех Поэтов II — III (Второе издание). Изд-во Эфрон	„ 1923 г.
Ник. Оцуп. Град. (Второе издание). Изд-во Эфрон	„ 1923 г.
Цех Поэтов IV. Изд-во Трирема . .	„ 1923 г.

Готовятся:

Цех Поэтов V.
Георгий Адамович. Возвращение Орфея.
Георгий Иванов. Стансы.
Ирина Одоевцева. Ангел.
Николай Оцуп. После боя.
Книга о Н. Гумилеве.

ОПЕЧАТКИ:

Стран.:	Строка:	Напечатано:	Читать:
15	4 сверху	услишу	услышу
45	3 снизу	срипачей	скрипачей
46	5 сверху	Монрартр	Монмартр
61	7 сверху	высоког	высокого
68	После текста в примеч. *)	молодой Человек	молодой человек
69	3 снизу	новидимому	повидимому
71	12 сверху	авартюрнаго	авантюрного
75	4 сверху	оказывается	отказывается